

РАССКАЗЫ

ПЕСТРУШКА

Убойный конвейер

Куровозные телеги поднимались под навес разгрузочного пандуса, птица сыпалась на транспортер, въезжала внутрь здания и падала на вращающийся стол карусели. Бригада женщин вокруг стола, в одинаковых салатного цвета халатах и шапочках, в защитных очках и марлевых респираторах ловила перепуганно трепыхавшихся кур и вешала на транспортер. Три секунды на птицу. Поймать — повесить. Поймать — повесить. Пять тысяч раз в смену на каждую пару рабочих рук. Зимой в холоде. Летом в жаре. Всегда — в волнах аммиака. И птица, перевернутая вниз головой, покорно затихала.

— Если бы существовал куриный рай, дорога к нему начиналась бы от «киллеров», — сказал однажды сменный слесарь Дима Ёлкин напарнику Толику.

Ёлкин шел вдоль убойного конвейера. Деловито и бесшумно работали глушители и «киллеры». Лились кровь и вода. Шипел вакуум, пощелкивали перевесчики и потрошители, шелестели транспортеры, еле слышно звенели пилы, тихонько гудел «маэстро». Ёлкин, среднего роста, худощавый и жилистый, с первыми проблесками седины в черных, слегка вьющихся волосах, закончил очередной обход оборудования и вошел в карусельную. Вошел с определенной целью — потискать бойкую и веселую разведенку Нинку Любашину, к которой он, работающий и хозяйственный, но мрачноватый, с трудом сходившийся с людьми, а потому одинокий, был неравнодушен.

Дима не скрывал, что молодая женщина нравится ему, а потому поступал напояз, чтобы все знали: не троньте, моя! А она, в то время когда сердце млело в широких и жестких, но негрубых мужских ладонях, ни на секунду не останавливаясь, продолжала ловить — вешать свои пять тысяч, одними локтями изображая сопротивление, и повизгивала:

— Ну Ёлкин... ну Ёлкин же... ну люди же смотрят!

Остальные женщины на карусели были замужними и смотрели на них с пониманием, а то и легкой завистью, не переставая ловить — вешать, ловить — вешать. И тут сквозь шипение, пощелкивание и гул несколько женских голосов разом закричали из-за стены, от «маэстро»:

— Ёлкин! Ёлкин!!

Мысленно ругнувшись (ругаться вслух не позволяли присутствие Нинки и репутация невозмутимого человека), Дима пошел на крики.

Леонид Николаевич Шелудько родился в 1952 году в Чите. Окончил Томский политехнический институт в 1975 году. Горный инженер-механик. Публиковал стихов и прозу в журналах «Сибирские Афины», «День и ночь», «Сибирские огни», «Начало века», «Слово Забайкалья», «После 12». Автор четырех книг. Член Союза писателей России.

Пеструшка

На заселение пятого птичника привезли цыплят. Птичница сразу обратила внимание на одного. Он был таким же крохотным и суетливым, как другие, но на желтенькие спинку и крылышки ему будто брызнули рыжей краской.

— Ух ты какая пеструшка шустрая, — заметила она, когда цыпленок быстрее всех кинулся к поилке.

Пеструшка оказалась любопытной курочкой. В то время как другие передвигались только от кормораздатчика к поилке и обратно, ее пестренькую спинку видела птичница в разных углах обширного помещения. Даже когда подросла и нежный пушок сменился пером, перо тоже казалось помеченным рыжими брызгами. Пеструшка обживала свой мир. Мир был сверкающе-белым и теплым. Мир сначала пах только едой, а потом начал попахивать и аммиаком птичьих испражнений. Этот запах стал запахом дома. Включался свет, наступал день — время кормления. Свет гас, наступала ночь — время сна. Мягко гудели вентиляторы, всем хватало и корма, и питья. Птицы подрастали, свободного места в помещении оставалось все меньше, они наедались и лежали на подстилке из опилок и испражнений. Только Пеструшка бродила по периметру птичника, хотя ей все труднее было носить тяжелеющее, раскормленное тело.

И однажды в половине седьмого утра к воротам в торцевой стене птичника подъехали кузовные телеги. Ворота распахнулись, телеги въехали внутрь. Без лишнего шума в полутьме началась погрузка. Куровые брали сонных птиц парами и бросали в металлические короба телег. Перепуганные внезапной переменой обстановки, те, кудахча, жались друг к другу. Телега уезжала, на ее место вставала новая. Пеструшка проснулась, почуяв неладное. Спала она, по своему обыкновению, у стены. Подальше от скопища пернатых. И попробовала улизнуть от неведомой, но явно ощущаемой опасности в самый дальний угол. Но птичница, получавшая зарплату от сданного живого веса, заметив ее маневр, сказала курову:

— Поймай по-тихому вон ту пеструю, пока курей не перебудила.

И беглянка оказалась в телеге. Рычал трактор, кузов потряхивало на неровностях дороги, когти птичьих лап скользили по металлу. Все было чужое и незнакомое, только запах аммиака, пропитавший изжелта-белые перья товарок Пеструшки, был запахом дома. И он понемногу успокаивал. В курочке проснулось любопытство, и она глянула поверх бортика. От привычного сверкающе-белого мира не осталось ничего. К дороге подступали березы, прошла навстречу порожняя телега, потянулись мимо заборы и здания. Несколько поворотов, медленный осторожный разворот — и настил разгрузочного пандуса принял на себя новый груз. Кузов телеги начал распахиваться вниз, птица из головной секции с шумом и кудахтаньем посыпалась на транспортер. Тут Пеструшка, сидевшая у заднего бортика хвостовой секции, с силой оттолкнулась лапами от металла, перепрыгнула через бортик и шмякнулась о настил. Она не ожидала падения с почти метровой высоты, потому испугалась. Но поднялась и постояла, осматриваясь. Потом начала осторожно, не спеша и с оглядкой, спускаться с пандуса. Рабочий, высокий парень с деревенским лицом, разгружавший телегу, лишь покосился на беглянку, но останавливать разгрузку из-за одной курицы не стал. Пеструшке хотелось есть и пить. Внизу, на асфальте, лежало просыпанное кем-то зерно.

Очередная телега с птицей почему-то задерживалась. Была середина мая, но жарило, как в разгаре лета. Карусельщики вышли на свежий воздух покурить. Вышли

и Дима с Нинкой. Отошли подальше от пандуса, где не так ощущался запах аммиака, и присели на ограждение газона.

— Бросай курить, — буркнул Ёлкин, — целоваться с курящей все равно что облизывать пепельницу.

— А сам?

— Я мужик, — убежденно отрезал Дима.

— Ёлкин, а вон курица убежала, — чтобы отвлечь его от нежелательной темы, начала Нинка.

— Ну и пусть бегаёт.

— Поймай.

— Ага. Щас. Мне не за это платят.

— Ну я поймаю, — привстала она.

— Сиди. Туда, — он мотнул головой через плечо в сторону убойного конвейера, — она и без нас попадет. Пусть поживет, сколько сможет. Вон как зерно наяривает. Голодная.

— Хоть в канаву спрячься, дура, — крикнул он, будто эта пестренькая курочка могла его услышать и понять.

Пеструшка доклевывала зерно на обочине, когда мимо нее лихо пошла на разворот задержавшаяся на птичниках телега. Курица метнулась подальше от колес и свалилась в канаву ливневой канализации. По дну канавы текла вода, и она, придя в себя после падения, первым делом напилась. Возле воды ползали соскучившиеся по солнышку дождевые черви. Беглянка клюнула одного, сглотнула. Ей понравилось, и она пошла вдоль канавы, поклевывая червей и запивая водой. Здесь было хорошо и почти тихо, но жарко, как и наверху. Пеструшка брела, пока канава не уперлась в водопропускную трубу, ныряющую под асфальт. Из трубы тянуло прохладой, и она пролезла внутрь. Здесь, внутри трубы, были и прохлада, и вода, и черви в илистом слое на дне. Пеструшка решила, что лучше места ей не найти. Она закопошилась, устраиваясь поудобнее, а устроившись, от пережитых волнений, усталости и полутьмы уснула.

Когда разгрузка телег закончилась, рабочий приступил к проверке территории и сбору почему-либо не попавшей на транспортер птицы. Добросовестно заглянул во все углы, где могли притаиться куры, осмотрел газоны, проверил канаву ливневой канализации, только в трубу под асфальтом не заглянул. Да и что там было делать курице? Отправил всю обнаруженную птицу на карусель, кинул грязные перчатки в мусорный контейнер и со спокойной совестью пошел в душевую.

На улице вечерело, когда Пеструшка проснулась. Она не сразу поняла, где находится. Полутемная труба вместо привычного сверкающе-белого мира окружала ее. Курочка бросилась туда, где увидела круг света, и вывалилась в канаву ливневой канализации со стороны, противоположной той, откуда попала в трубу. А когда вывалилась, вспомнила. Она вспомнила тревожное утро, поездку в кузовозной телеге и ощущение надвигающегося страха, вытолкнувшее ее наружу. Вспомнила и прижалась ко дну канавы. Но вокруг было спокойно. Откуда-то — из канавы не было видно откуда — доносился мерный шум, похожий на шум работающих в птичнике вентиляторов. Постепенно беглянка успокоилась, встала и пошла вдоль канавы, поклевывая червей и разную другую съедобную мелочь, запивая свой ужин водой.

Смеркалось. Канава уперлась в бетонный забор. Под забором его строители оставили узкую протоку для схода воды. В этом месте откос канавы был пологим, и Пеструшка поднялась по нему в заросли сухой прошлогодней травы, рядом с которой уже пробивалась молодая крапива. Там она и провела свою первую ночь на свободе.

Майская ночь была ощутимо холодной, звездное небо заменяло сверкающе-белый кров, вместо вентиляторов тихонько шумели сухие стебли. Птичьи голоса и шум машин на автотрассе где-то за забором то и дело будили курочку, а под утро совсем похолодало.

Встало солнце, и вскоре с той стороны, откуда пришла она вчера, послышался шум тракторов. На убойном конвейере начинался новый рабочий день, и до нее время от времени докатывалось оттуда ощущение страха и покорности куриной судьбе. Уйти подальше от источника этого ощущения мешал забор. Пеструшка попробовала пролезть в оставленную под ним протоку, но это ей удалось только тогда, когда разрыла она лапами слой ила на дне. По ту сторону забора тянулись такие же заросли сухой травы и молодой крапивы, так же журчала вода и ползали возле воды красные черви. За зарослями начинался березовый лесок, сквозь него проходила железная дорога, по которой, заставив Пеструшку вжаться в землю от страха, с воем и свистом пронеслась утренняя электричка из города. На опушке курица нашла ямку под полусгнившей корягой, залезла в нее и начала обживать в своем новом мире.

Середина лета

Нинка Любашина называла Диму только по фамилии: «Ёлкин, а Ёлкин!» Не потому, что ей не нравилось имя Дмитрий. А только потому, что так звали ее бывшего мужа. Поначалу молодой женщине льстило, что муж ревнует ко всем встречным: «Значит, любит». Но когда тот начал скрипеть зубами на каждую ее улыбку не в его адрес, а потом и отвешивать оплеухи, она просто собрала свои вещи и вернулась в родительский дом. А вскоре официально развелась. Ладная и видная, с легким налетом сдобности в лице и фигуре, Нинка не боялась одиночества. Но ухаживания Ёлкина поначалу встретила настороженно, сочтя схожесть имен залогом схожести характеров.

— Ты че, Нинка? — искренне удивилась подруга, сманившая ее перейти работать в убойный цех. И добавила, оттопыря вверх большой палец с маникюром френч на ногте: — Дима мужик во!

Мрачноватый Ёлкин возле улыбчивой Нинки и сам начинал улыбаться. Теперь они вместе ходили на обед в фабричную столовую, временами уезжали после работы к нему, но всегда женщина ночевать возвращалась к себе, отклоняя предложения остаться до утра. Она даже в минуты, когда человек не владеет собой, ни разу не назвала его по имени:

— Ёлкин... Ёлкин... Ё-е-ло-о-чки-и-ин!

Стояла середина лета, плавился асфальт под ногами, и плавилось сердце Димы Ёлкина, когда она называла его «Ёлочкин».

Поначалу каждый свой новый день в березовом лесочке между забором птицефабрики и линией железной дороги Пеструшка встречала как последний. Грозно шумели над головой деревья. Вода падала с неба и заливала приютившую ее ямку под корягой. Копья молний и громовые удары, казалось, целили прямо в нее. Вой электричек, спешивших из города и в город, настигал в любом месте лесочка и заставлял вжиматься в землю. Но больше всего курочка боялась бродячих собак, забредавших иногда в лесок. Стая эта обитала в поселке за линией железной дороги, а вожаком был рыже-подпалый дворняга, сильный и быстрый.

Но день проходил за днем, дни складывались в недели, лето вступало в полную силу. В глубине леска, на возвышенном, не заливаемом дождями месте, Пеструшка

обнаружила давно заброшенную нору под корнями березы и стала жить в ней. Лес в избытке снабжал курочку пищей, за водой она ходила к ручейку, вытекавшему из-под забора, или пила дождевую. Ее тело предубойной раскормленности стало поджарым и сильным, ноги крепкими и быстрыми, а острый клюв без промаха хватал добычу. Необходимость удирать от опасности научила помогать ногам крыльями. Однажды, спасаясь от собаки из стаи Подпалого, Пеструшка выскочила на обрыв. Спасения не было, и она как бежала, так и прыгнула вниз. Но вместо того чтобы упасть камнем и разбиться о землю, полетела. Почти как птица, яростно ударяя воздух крыльями. И приземлилась внизу, метрах в двадцати от растерянного пса, за полосой непролазных кустов шиповника. Она запомнила чувство полета и начала завидовать птицам. Невыносимо тосковавшая в первые дни по сытому и уютному миру птичника, Пеструшка вспоминала его все реже, а потом и вовсе забыла.

Однажды собачья стая наткнулась на Пеструшку поблизости от ее убежища, и курочка успела проскочить в нору. Подпалый, видя, что жертве некуда деться, с расправой не торопился. А когда сунул в нору морду, эта странная пестрая курица, успевшая к тому времени отдышаться, прийти в себя и понять безвыходность своего положения, от отчаяния сделала единственное, что могло ее спасти: ударила крепким клювом прямо в собачий глаз.

До вечера крутилась стая вокруг Пеструшкиной норы, не рискуя соваться в нее и дожидаясь, когда хоть немного придет в себя визжащий от боли вожак. Уже в сумерках собаки ушли, и только глубокой ночью Пеструшка выбралась из своей земляной крепости поискать пищу и воду.

Исполнение желаний

Наступила осень. Улетели на юг грачи, скворцы и ласточки. За ними потянулись клинья журавлей и шеренги цапель. Последние деньки догуливали на окрестных озерах и болотах утки и гуси, готовясь к дальней дороге. И Пеструшка смотрела вслед свободным птицам в свободном небе.

Становилось все холоднее. Она старалась реже покидать свое убежище, опасаясь встречи с Подпалым. Когда пес потерял глаз, стая прогнала его, выбрав нового вожака, и теперь он, отощавший и потерянный, бродил в одиночку, лишь иногда с ним ходила сука, которую не принимала ни одна стая из-за хромоты. Хромая была чистопородной немецкой овчаркой и домом своим считала раньше двор трехэтажного коттеджа в районе, называемом горожанами Полем Чудес. Но однажды попала под машину, и хозяин, дождавшись, когда срастется сломанная лапа, увез собаку подальше в лес и оставил там.

Окончив работу, карусельщицы в последний раз перед душевой вышли покурить на свежий воздух. Дима, вышедший вслед за Нинкой к газону с прибитой первым заморозком травой, держа в руке пачку синих «LD», заметил, что та не спешит закуривать, и припомнил: сегодня он вообще не видел ее курящей.

— А ты чего не закуриваешь, бросила, что ли?

— Все, откурилась я, Ёлкин.

— Ты? Наконец-то.

— Да-да. Откурилась. И отвыпивалась. И с тобой, Ёлкин, откувыркалась, — сказала она легко и даже как-то весело.

— Не понял. Ну-ка объясни, что случилось, — глаза Ёлкина сделались холодными и колючими.

— Что случилось, то и случилось. Ребенок у меня будет. Мамой я стану, вот что случилось.

— Фу-у! — облегченно выдохнул он. — Значит, так: со смены вместе едем к тебе собирать вещи. С этой минуты ты мне жена.

— А ты-то при чем? Ты свое сделал. Дальше я сама, — спокойно, как о давно решенном, ответила она.

— Как это — «сама»? — гася улыбку, ошарашенно вымолвил Ёлкин.

— Вот так. Я и ребенок. И всё.

— А я?

Нинка пожала плечами, собираясь повернуться, уйти и закончить на этом тяжелый, но необходимый разговор.

— Да что ты... — крикнул всегда казавшийся таким невозмутимым Ёлкин и будто подавился этим криком, — да что вы со мной делаете?! Или я урод какой, что отцом хорошим быть не смогу?!

Она не знала, да и мало кто знал: когда бывшая жена Димы Ёлкина свою вторую беременность, как и первую, прервала аборт, он оставил ее, сказав на прощание: «Тебе бы у нас на убойной линии вместо „киллера“ стоять. У тебя убивать хорошо получается». Все последующие годы он копался в себе, пытаясь понять вину в случившемся, и не находил ее. И облегчения тоже не находил. Нинка не знала этого, но вдруг поняла: ляпни она еще хоть слово поперек, и железный Ёлкин, чего доброго, расплатится. А на что он будет способен в таком состоянии, один Бог знает.

— Ёлкин ты, Ёлкин, — женщина шагнула к мужчине, подняла руку, быстро провела ладонью по его слегка вьющимся, черным с проседью волосам и удержала ее дернувшуюся назад голову, — Дима ты Ёлочкин...

Была та удивительная пора, какую испокон веков на Руси зовут бабьим летом. Пора, когда над остывающей, но еще теплой землей летят паутинки, когда грохоток картофельных клубней, падающих в пустое ведро, веселит крестьянскую душу слаще любой музыки. Пора желанная, как последняя сигарета перед долгой и трудной работой. Прощальная пора.

Собирая последние дары осеннего леса, Пеструшка бродила неподалеку от своего земляного дома на пригорке, постепенно приближаясь к нему, как вдруг почувствовала тяжелый, сминающий душу взгляд. Неслышно подкраившийся Подпалый готовился к последнему броску. Пеструшка кинулась было на пригорок, но, отрезая ей дорогу к убежищу, там уже стояла Хромая. Они все-таки подловили курочку. И бросились на нее разом. Но за миг до того, как Хромая сомкнула клыки на куриной шее, Пеструшка успела вогнать клюв в единственный, налитый злобой глаз Подпалого. И тут ее душа взлетела над осенней землей. «Вот что мешало летать», — поняла она, увидев оставшееся на земле тело. Хромая, не оглядываясь на катающегося по желтым умирающим листьям слепого пса, ухватила это тело за голову и поволокла к логову, где ждали голодные щенки.

Пеструшка взлетела повыше. Невинные птичьи души, чередой поднимавшиеся от убойного конвейера прямиком в куриный рай, видели случившееся. И почти-точно расступились, пропуская Пеструшку.

ПЛЕТКА

Тулеген был одним из двух дежурных электриков смены. Другим — Коля Савченко. Они ввалились, когда мы с наладчиком Витей Кохом только-только присели перекусить.

— О, да у вас сало! Гляди, Коля, — с чесночком! Давно мы не пробовали сала с чесночком.

— Ты же казах, Тулеген, — попытался урезонить его Витя, — тебе по религии сало есть нельзя!

— Я казах, служивший в Советской армии. И мне много чего можно, особенно если стариков рядом нет. Старики в таких делах — хуже тигров уссурийских. Или тебе сала жалко, Кох?

Его армейская служба прошла в уссурийской тайге, на станции Камень-Рыболов под озером Ханка. Казахи в тех местах были в диковинку, потому принимали Тулегена за корейца, а чаще за бурята. Высокому, крепкому, круглолицему Тулегену кто-то дал там прозвище Уссурийский Тигр. В шутку, конечно. Но добродушному казаху понравилось это сравнение с редким, красивым и опасным зверем.

Как-то в начале нашего знакомства, рассказывая о своих братьях и сестрах — кто где живет и чем занимается, — высыпал он целый ворох казахских имен.

— Сколько же их у тебя? — спросил я Тулегена.

— У папки нас десятеро: семеро парней, со мной, да три сестренки еще у нас. Я-то шестой по счету.

— Вот как? Значит, мать у тебя — мать-героиня, раз десятеро....

— Нет. У мамки нас трое.

— Как же так — у отца десять, а у матери трое?

— А вот так: у папки три жены. И мы их всех мамками зовем. А не назовешь — не обижайся, у папки рука тяжелая. Да они сами своих детей от не своих не выделяли никогда. Разве что на своих работы побольше валили. А так — каждая мамка в своем доме живет. Вот моя, например, ближе всех к школе. Так мы зимой, в самые морозы, всей оравой после школы к нам топали. Мамка накормит, посадит уроки делать, а самых старших к тем мамкам отправит. Скажут они — где мы да что все в порядке — и назад. Чтобы утром, когда самый морозика давит, опять вместе да по короткому пути в школу.

Отец его был табунщиком, кочевал по степи с табунами и отарами. Как успевал он обеспечивать все три свои семьи? Тулеген говорил об этом туманно:

— Есть люди и побогаче моего папки. Но семьи такие, как у нас, большая редкость. Видать, не в деньгах тут дело.

Присели они с Колей к нашему столу, съели все сало, запили чаем и ушли. Вместо «спасибо» Коля бросил уже в дверях:

— А сало у вас так себе, мужики. Шкурка жестковатая...

Однажды когда Тулеген не был еще сменным, понадобилось вызвать его на работу взамен заболевшего напарника Савченко. И я поехал в Каратас, где, как в соседней Знаменке, жили и русские, и казахи, и немцы. На одной из окраинных улиц отыскался его дом. Водитель дежурного пазика посигналил, вызывая хозяина.

— Заходите в дом, мужики. Сейчас соберусь, — сказал Тулеген, узнав, в чем дело.

Едва мы вошли, я увидел в прихожей на стене возле двери плетку. Обычную витую плетку пастуха-табунщика из узких сыромятных ремешков, с темной от времени деревянной рукоятью и сыромятным темляком. Я спросил, кивнув на нее:

— У тебя верховая лошадь есть, Тулеген?

— Нет.

— Зачем же плетка?

— Это для другого дела, — ответил он, слегка смутившись, и мне показалось, что его жена, худощавая, среднего роста приветливая казашка, чуть заметно улыбнулась.

Захрипела рация на стене:

— Начальник смены! Ноль седьмой выехал на весь кабель. Ждем электриков для переключения.

«Ноль седьмой», тяжелый карьерный экскаватор с четырехзначным заводским номером, заканчивавшимся цифрами «07», в этот день переезжал из отработанного забоя в новый. Подошел автобус, электрики забросили в него амуницию, и мы поехали переключать «ноль семерку». Спустя полтора часа она снова, гудя двигателями хода и постукивая траками, покатила к забою. А мы вернулись к себе, где Витя смотрел по телевизору «Свадьбу в Малиновке».

— Тулеген, а Тулеген, — начал Коля, когда нам надоели опереточные бандиты вкупе с опереточными красными конниками, — Расскажи про свою свадьбу! Большой калым за невесту отдал?

— Не давал я калыма, — ответил он нехотя, — украл, и все.

— Как это «украл»?

— Когда из армии пришел, в Знаменке на танцах почти сразу ее, Сауле, заметил. То есть я ее и до армии видел, но она тогда совсем никакая была. Маленькая, худая, какая-то вся стеснительная. Ну она стеснительная так и осталась, а в остальном — глянешь в глаза, а они как звездочки. В общем, разглядел я ее.

— А потом?

— Она с сеструхой моей Розкой дружила. Розка нас познакомила, ходить стали. Папка узнал, говорит: ты серьезно или так? А раз серьезно, тогда начинай дом строить. Два года не прошло, построили. Братья же помогали, да и другая родня. Спрашиваю однажды ее: хочешь моей женой быть? А она: я согласилась бы, если отец разрешит. Пошел с этим делом к папке. А он говорит: настоящий джигит должен себе жену украсть. А если боишься, что не получится, или вообще боишься, то сразу говори. Тогда пойду с ее отцом договариваться.

Отца ее в Знаменке зовут Одноглазым. Он тоже табунщик, как мой папка. Высокий, жилистый, с носом как ястребиный клюв, отчаянный и ловкий на коне. Не раз побеждал в кокпаре, пока однажды по запарке кто-то не выхлестнул ему плеткой глаз. С тех пор он носит на глазу повязку. В общем, серьезный отец у моей Сауле, тигр уссурийский. Начал я думать, как ее украсть. Дело ведь непростое: бывало, идет она по улице, с обеда на ферму торопится, худенькая, косички на спине подпрыгивают, тут я навстречу. Увидит — и так заулыбается, что мне песни петь охота! Как же ее украдешь такую? Однако перед папкой себя уронить тоже не хочется. Думал, думал — и придумал. Выбрал время, когда отец ее в степи с отарами был. Тут брат Серик погостить приехал. Я к нему, а он: давай, мол, получится! Подговорили мы с ним сеструху. Тем более что они подруги. Хоть и в разных деревнях живут, а на одной ферме работают.

И вот идет моя Сауле после обеда на работу. На ферму. А тут на папковых «Жигулях» Серик едет. Тормознул возле нее да и говорит: мол, не надоело тебе пешком ходить? Садись, подвезу! А на заднем сиденье Розка. Тоже ей: поехали, да поговорим дорогой. А меня в машине нет. Если бы я там был, она бы ни за что не села. Догадалась бы. Напротив следующего проулка Серик чуть-чуть притормозил, я оттуда выскочил и почти на ходу запрыгнул в машину на заднее сиденье. Саулешу мою к сестре прижал. Тут она все поняла, да было уже поздно. И она заплакала. Тихонько, как дите обиженное. Говорю брату: мол, останови, не могу я так! А он мне: ты что, сдурел? Взялся — доводи до конца. И только сильнее на газ давит. Привезли мы ее, а там уже гости ждут. За стол посадили, а она все плачет. Не так чтобы сильно, а все равно жалко ее. Она и в спальне потом до утра проплакала, уж как я ни уговаривал. Так ее в ту ночь и не тронул. Утром говорю: ну раз тебе в моем доме ра-

дости нет, иди к родителям. А куда ж ей теперь идти? Кто ее возьмет после того, как она в моем доме ночь провела?! Расписались мы с ней в загсе и стали жить. Папка мой к ее отцу пошел, а тот ему говорит: тебя я уважаю, а парень твой чтоб к моему дому дорогу забыл. А то я ему ноги переломаю. Вот так.

Папка утром после того, как я Сауле украл, повесил в моем доме плетку. Плетка эта в доме мамки раньше висела. Сколько я себя помню, столько она и висела. Я у папки спрашивал, зачем она тут, а он отвечал всегда одно: вырастешь — узнаешь. А когда в моем доме повесил, тогда же и рассказал. Я его послушал и спрашиваю: почему ты только сейчас это рассказал? А не раньше? Он отвечает: родится у тебя сын и станет таким, как ты сейчас, — тебе и решать, когда ему про эту плетку рассказывать. Или не рассказывать. А я решил так.

Захрипела, пробиваясь сквозь помехи, рация на стене:

— Наладчик, ответь сорок второму.

— Слушаю тебя внимательно, сорок второй, — взял трубку Витя, — говори, что случилось.

— Витя, у нас подъем дергаться начал, приезжай.

— Вечно на сорок втором что-нибудь дергается, — приговаривал он, складывая в сумку полный комплект электросхем, инструменты и прибор. Все схемы всех типов наших экскаваторов Витя знал наизусть, но немецкая пунктуальность все равно брала верх. Я ждал продолжения рассказа о плетке, но тут дошла очередь и до меня:

— Дежурный механик, ответь восемнадцатому.

— Слушаю, восемнадцатый.

— Николаич, у нас на правом повороте «наездник» задымил. Только что.

— Работайте пока без него. Сейчас привезу замену.

Прошло недели две. Мы заступили в ночную смену. Коля Савченко отпросился по своим делам, Витя был на «сорок втором», где снова что-то «дергалось», и Тулеген, чтобы не скучать одному в своем вагончике, зашел к нам. По телевизору смотреть было нечего, и мы заварили свежий чай. Я спросил его, что же было дальше, после их свадьбы. И для чего все-таки плетку эту отец его принес?

— А дальше было вот что, — начал он, — долго моя Саулеша переживала, что все так получилось. Родители ее наш дом стороной обходили. И она иногда плакала. Папка мне говорит: терпи, скоро все наладится. Она у тебя уже беременная ходит. Не может быть, чтобы Одноглазый не захотел своего внука или внучку посмотреть. Так оно и вышло. Родился у нас сын Ерлан. Ерик. Весь на меня похож. Только носик у него крохотный такой, а уже как ястребиный клюв оказался. Папка опять к отцу Сауле пошел, говорит: внук у нас с тобой родился, джигит. И только тогда Одноглазый ответил: ладно, на внука глянуть зайду. Я и тому обрадовался.

Когда они с моими родителями пришли, я в стайке был. Бежит жена, вся перепуганная: так и так, мол. Захожу в дом — стоит ее отец над коляской, наклонился, смотрит на внука своего, и вроде как отмяк лицом. А я вошел — снова выпрямился, набычился, так и прожигает меня своим единственным глазом. Снимаю со стены плетку. Сложил и протягиваю ему. И говорю: вот тебе, отец, плетка, а вот моя спина. Бей, сколько хочешь, только прости. А все стоят и ждут, что он сделает. Возьмет плетку или плюнет мне под ноги и уйдет. Взял. Тут я зубы стиснул — будь что будет. И он ударил меня. Один раз. Сплеча рубанул, с оттяжкой. Будто молния врезалась в спину и пропахала. Хоть и приготовился, хоть и зубы стиснуты были, а все равно не удержался. Он в лицо глянул: что, парень, больно? А мне, говорит, больней было, когда ты мою дочь, как овцу из чужой отары, уволок. Сложил плетку и протянул.

Повесь, говорит, на место, а когда мой внук вырастет, расскажешь ему, за что я тебя ударил. Тут папка позвал: женщины стол приготовили, пойдемте праздновать. Я плетку вешаю на крючок у двери и чувствую, как первые капли крови потекли по спине. И думаю: «Зато моя золотая больше плакать не будет».

Тулеген замолк. По рации начальник смены вызывал экскаваторы. Из карьера в двухстах метрах от нашего вагончика слышались резкие сигнальные гудки «восемнадцатого». Витя Кох, закончив наладку на «сорок втором», запросил автобус. Чувствуя, что не все еще сказано, я заторопил:

— А дальше, Тулеген, что было дальше?

— А дальше? Сидим за столом. Папка с Одноглазым беседуют, общих знакомых и родню перебирают. Потом оказалось, что они в одном гарнизоне служили, только в разные годы. И ударились оба в воспоминания об армии. У меня боль спину рвет и печет. И ничего мне больше не хочется. Рубашка на спине промокла, и под меня уже кровь затекает. Глянул Одноглазый на меня и говорит папке: отпустим Тулегена? А то я свою руку знаю, мало ему не показалось. Папка мне: иди, сынок, полежи, легче станет.

Уже в дверях слышу, Одноглазый — крепкий у тебя парень, папке говорит, теперь я за дочку спокоен. Зашел в спальню, постелил на нашу кровать клеенку, для сына купленную, и лег на нее животом. Только лег — заходит Саулеша. Глянула на мою спину. Не охнула, не вскрикнула, только вдохнула как-то глубоко и со всхлипом. И вышла. Ну, думаю, за мамками побежала. Нет. Приносит тазик с теплой водой. Тряпки какие-то, бинты и мази. Сначала рубаху на мне ножницами разрежала. Вымыла спину. Потом рубец мой свежий стала перекисью поливать. И все молча, будто всю жизнь так делала. Мазь какую-то прохладную по больным местам размазала. И сразу боль стихать начала. Успокаиваться. Вдруг чувствую: губы ее — легонько-легонько, осторожно-осторожно — спины моей возле самого вспухшего рубца касаются. И понял: она же мою рану целует. Уткнулся лицом в подушку. А подушка под моими глазами мокреть начала. Лежу и чувствую: надо будет сто раз мою золотую украсть — сто раз украду. Когда она вышла воду кровяную из тазика вылить, я подушку сухой стороной кверху перевернул. А то подумает, что из-за боли разнюнился. Вот и все. Две недели после этого я только на боку и на животе спал. А когда жена дочку родила, которую я в честь сеструхи Розой назвал, да стала она подрастать, тут я и обиду Одноглазого все больше понимать начал.

С тех пор прошло немало лет. Нет уже огромной страны, в которой все мы были вместе. Витю Коха дети уговорили перебраться к ним в Германию. Коля Савченко на Украине, в родном Донецке. Я уехал в сибирский Двуреченск. Между нами тысячи километров и государственные границы. Тулеген так и живет в Каратасе. Недавно его старший сын Ерлан украл себе жену.

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

Гриша Ротермель и Саша Штриплинг дружили еще со школы. Гриша, чуть выше ростом, шире в плечах и темнее волосом, относился к Саше покровительственно, но не помыкал. Ему достаточно было, чтобы Саша знал: Гриша всегда и во всем первый. Он первым пошел в школу водителей при ДОСААФ, а Саша — уже за ним.

Служили оба за баранкой. Саша водил тяжелый «Урал» в одной из дивизий у китайской границы. А Гриша возил на уазике командира артиллерийского полка, сто-

явшего под Улан-Удэ. На родину, в горняцкий поселок среди казахстанских степей, вернулись почти одновременно. Гриша — чуть раньше. И пошли работать водителями на тяжелые БелАЗы-«сорокачи», вывозившие по сорок тонн руды за одну ходку из забоев рудника горно-обогатительного комбината. В одном Саша опередил друга: женился на два года раньше на их однокласснице. Она еще в школе заглядывалась на Гришу, но потом почему-то передумала.

Друзья работали в одной бригаде. Бывало, в ней происходили перестановки людей с одной машины на другую или кто-нибудь уходил, а на его место бригадир Николай Степанович брал новичка. Если в результате у Гриши появлялся новый сменщик, Ротермель делал напарнику «проверку на вшивость»: будто по забывчивости оставлял на видном месте в кабине немного денег. Обычно на следующий день сменщик протягивал ему эти деньги, выговаривая:

— Что, богатым стал — где ни попадя деньги разбрасываешь?

Но однажды новый напарник промолчал, а деньги исчезли. И Гриша нашел способ избавиться от этого человека. А Советский Союз уже трещал, и начался отъезд «советских немцев» на только что объединившуюся «историческую родину». Она не скупилась на гостевые визы и на ПМЖ принимала людей без долгой волокиты. Перед самым падением СССР в Германию уехали родители Гриши и семья родной сестры Саши. А когда Союз рухнул, друзья, побывав у родственников в гостях, тоже решились уезжать. Гриша и тут сумел опередить друга, и раньше него, и выгоднее продав квартиру, гараж и свою салатного цвета «ниву». Уехали семьи вместе.

Прошло два года. Горно-обогатительный комбинат то останавливался, то снова начинал работать. Опустили полки магазинов. Начались задержки выдачи зарплат. Кто-то уехал из поселка совсем, кто-то устроился на угольные разрезы соседнего города и каждый день ездил на работу за пятьдесят километров от дома. Советские деньги еще были в обороте, но уже появились и новенькие тенге, украшенные портретами Аблай-хана, Чокана Валиханова и других известных казахов. Но на них тоже покупать было нечего. И тут в поселок вернулся Гриша Ротермель с семьей.

Поначалу друзья и соседи решили, что Ротермели приехали в гости, соскучившись на своей новой «родине» по родным местам и людям. Но Гриша, неделю прожив у дальних родственников жены, купил двухкомнатную квартиру в старой трехэтажке на окраине поселка и пошел работать на угольный разрез. Водить такой же «сорокач», на каком возил руду на комбинате. На вопросы, почему вернулся, отвечал только: «Да ну этих немцев с их козлячьими порядками!» — и обрывал разговор. Или переводил на другое. Гриша заметно изменился, стал молчаливым и замкнутым. Что-то тяжелое носил он в себе, и оно поднималось со дна души, едва речь заходила о Германии и немцах. Видя это, люди отстали от него. И прикидывали, скоро ли вслед за другом вернется Саша.

Так прошло еще полгода. И однажды в конце июня, когда солнце дожгло до желтизны степи вокруг поселка, в ограду дома, где уже несколько лет после смерти жены и отъезда детей одиноко жил Альберт Густавович Штриплинг, отец Саши, ввалились гости. Саша с женой и детьми. Веселые, почти не утомленные тремя часами в самолете и двумя сотнями километров в автобусе.

Закончился рабочий день, начала остывать от зноя земля, и во дворе под тополями накрыт был стол. Молодые Штриплинги, заметно уже приуставшие от хлопот, принимали соседей и друзей, охотно и с удовольствием рассказывая о Германии, о тамошних своих соседях и друзьях. И все было хорошо, вот только Гриша не пришел. А на вопросы о том, что случилось с его другом в Германии, отвечал Саша одно: «Об этом лучше него никто не расскажет». И переводил разговор на другие темы.

Последний перед отъездом вечер подходил к концу. Смеркалось, духота сменилась прохладой, танцы сменялись песнями на просторном дворе Альберта Густавовича.

— Что-то Гриха даже проститься не пришел, — сказал Саше бывший его бригадир Николай Степанович, — а ведь какими вы друганами были!

— Да я и не ждал, что придет, Степаныч. Гордый он. Ему свою гордость не обойти, не перепрыгнуть.

— Что между вами вышло, Санька? Неужели вы там сцепились? Вот не думал.

— Между нами — ничего. А вообще вышло.

Прощальное настроение или выпитое вино, теплые звезды над засыпающей землей или теплые серые глаза Степаныча, которого уважал Саша почти как отца, или все это вместе всколыхнуло его душу:

— Вышло, дядя Коля, вышло!

Они закурили из бригадирской пачки. Саша затаился и, не в силах больше молчать, начал:

— В переселенческом центре мы были вместе. Учили нормальный немецкий, обычаям и повадкам учились. Многие из нас новые специальности получали. Те, которые там нужны были. А нам с Грихой сказали, что русских шоферов и так с руками везде отрывают. Это здесь мы немцами были, дядя Коля, а там русскими стали. Через год выдал ему и мне этот центр направления на работу в одну и ту же транспортную компанию. Помог на первое время жилье снять. Дальше живи, как сам сумеешь.

Компания установила нам испытательный срок, дала машины. Не новые, но вполне приличные. И начали мы с Гришей по немецким штрассе рассекать. Работа простая: загрузиться товарами на складе, развезти их согласно маршрутному листу по большим и маленьким магазинам в городе. Ну и по окрестностям. А потом поставить машину в бокс. И все. Это не сорок тонн руды из карьера на фабрику по обледенелому серпантину тащить. Так мы и работали. Однажды — до конца испытательного срока неделя оставалась — отработал я маршрут, гляжу, а в кузове мешок сахара остался. Мне в тот день вместе с другими продуктами десятков мешков его загрузили. Думаю: кто-то недобрал. Поехал назад, зачищать маршрут. По инструкции так положено. Объехал все места, где разгружался. Ни у кого недобора нет. В боксе сдал машину дежурному и поехал домой.

Утром прихожу к диспетчеру за маршрутным листом, а он говорит: «Герр Штриплинг, вам сначала к герру Краузе надо». Герр Краузе — это наш начальник. Захожу, сидит он за столом. На столе перед ним конверт какой-то лежит. Поздоровались. Он спрашивает: «Как отработали вчера?». Нормально, говорю, отработал. А он: «И все было, как всегда? Ничего необычного?». А сам по этому конверту пальцами барабанит: «Даже в мелочах?»

Берет конверт и встает из-за стола. Тут меня будто кольнуло: мешок сахара! Я же про него и думать уже забыл. Нет, говорю, герр Краузе. Лишний мешок сахара мне вчера загрузили. «И где он, этот мешок?» В машине, отвечаю, а машина в боксе. Я что-то не так сделал, герр Краузе? Он опять сел, ящик выдвинул и бросил туда этот конверт: «Нет, герр Штриплинг, вы все сделали правильно. Получайте маршрутный лист и приступайте к работе. А мешок у вас на складе заберут. Я им позвоню».

Дал диспетчер «маршрут». Выхожу — навстречу Гриха. Бледный. Сразу видно — не в себе человек. И ко мне: «Саня, меня уволили!» Мы на людях всегда по-немецки говорили, чтобы внимания не привлекать. А тут он от волнения на русский перешел: «Представляешь, вызывает меня Краузе. Начинает расспрашивать про вчера, что да как. Нормально, говорю. А он: мол, вы такой хороший водитель, компании так жалко с вами расставаться, но ваши услуги нам больше не нужны. И конверт сует. А в конверте уведомление об увольнении и деньги расчетные! Вот так, Санек!»

Только сказал Гриха про конверт, мне сразу все стало ясно. Даже ноги затряслись от ясности, что было в конверте, который Краузе в стол бросил. Говорю: «А у тебя точно все было, как всегда? Даже по мелочам?» — «Да нет, как всегда, все было», — говорит. Только мимо глаз моих смотрит. Мне бы смолчать, дураку. Молча пойти за машиной да ехать на маршрут. Ему бы я все равно ничем уже не помог. А я взял и ляпнул про свой разговор с Краузе. И про мешок сахара, и про конверт. С перепуга ляпнул, дядя Коля. Его даже затрясло: «Так это не ошибка была?! Это меня „на вшивость“ проверяли?» Он так кричал, что вокруг нас люди собираться начали. Я говорю: «Мне ехать пора, Гриша». И пошел за машиной.

Попытался он найти другую работу. Но без рекомендации с последнего места ни где не берут. Рекомендацию-то ему Краузе дал. В том же конверте она лежала. Хорошая рекомендация. Если бы не последняя строчка. А в ней сказано: «Склонен к нечестности». И как только дочитывали люди до этой строчки, тут же ему отказывали. А без рекомендации брали только временно. Улицы мести или мусор вывозить. На день или два, пока найдут замену турку, который раньше эту работу делал. Потыкался он, помыкался — дальше вы знаете.

— А ты? — спросил Степаныч, прикуривая сигарету от сигареты.

— Я так и работаю. В этой же компании. Машину новую дали. Краузе наш после проверки как-то по-другому стал ко мне относиться. Мягче как-то.

Они вернулись за общий стол. Было совсем темно, и двор освещали два фонаря, над крыльцом и возле калитки. Гости разошлись. Только бывшая бригада Саши Штриплинга сидела в полутьме за столом.

— Дайте я на вас напоследок посмотрю, — сказал он, отступив к забору.

— Что ж на нас смотреть? Вот они мы, все живые, и долго еще живые будем. И увидимся не раз!

— А рваните-ка нашу любимую! — попросил он.

И в восемь глоток «рванули» мужики так, что за две улицы слышно стало:

На поле танки грохотали.
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

Саша смотрел, будто навсегда насмотреться хотел. Когда песня дошла до: «Старушка мама зарыдает, смахнет слезу старик отец», он сполз спиной по забору в траву. То ли всхлипнул, то ли выстонал:

— М-мужики, как же я — без вас — там — б-буду?!

Обхватил руками голову, уронил ее на колени и заплакал.